



Проза



**Ада Самарка.** Колобок. Повесть  
**Даниил Смолев.** Бантик. Повесть  
**Юрий Петкевич.** Приличный костюм  
для новой жизни. Рассказы  
**Вячеслав Аносов.** Ветренный день в  
середине лета. Рассказ  
**Вадим Муратханов.** Два рассказа

А г а С а м а р к а

## КОЛОБОК

На двадцать шестом году супружеской жизни семья Маслещиновых была вдруг благословлена чудом — оно явилось к ним прохладным, ясным октябрьским полуднем 1891 года, прилетело благой вестью над городскими крышами и колокольнями, когда сорокасемилетняя Варвара Павловна семенила вниз по Бибиковскому бульвару в Киеве, от доктора Тильгнера, и сверток в ее руках неожиданно лопнул, на тротуар шмякнулась ароматная, сочная, размочившая собой ненадежную бумагу горсть белого крымского винограда, и, растерянно собирая укатившиеся ягоды, она, наконец, смогла сгрести в охапку свои охающие мысли, выделив среди них одну, главную: «Я понесла, господи, пресвятая Богородица, у меня будет дитя...»

И ведь буквально недавно — моложавый, и не скажешь что пятый десяток разменявший Антон Глебович, учитель латыни в гимназии для мальчиков, сказал ей, игриво приобняв в белой ротонде бальнеологического курорта: «Тут такая атмосфера живительная, ну просто всякая мелочь вокруг располагает к продолжению рода, может, и ты родишь нам кого-нибудь?» Варвара Павловна засмушалась, ответила, что раз Бог не дал за столько лет, то откуда же ей взять-то. А Антон Глебович откинулся на спинку скамейки — весь в солнечных бликах, пряно-жарко пыхнула пышная зелень вокруг, — потянулся и сказал: «А ты соберись-ка, поскреби там по сусекам, из последней крошечки, может, и получится нам отрада на старости лет». Варвара Павловна неожиданно склонила голову ему на плечо и ответила: «И ты тоже, уж поскреби, без тебя мне одной никак», — что было, наверное, самой большой вольностью, позволенной ею в браке.

И ровно через год, нежным фиолетовым июнем, когда в киевских палисадниках только начали распускаться мальвы, и день стоял долго-долго, склоняясь на землю подобно падающему от жары

лепестку, вздохом вечерней прохлады, при помощи доктора Тильгнера родился у Маслещиковых их первый и единственный ребенок, мальчик. Отгороженный двумя проходными комнатами, разделенными двустворчатыми дубовыми дверьми с бархатными портьерами, Антон Глебович, промакивая пот со лба шелковым платком, ходил в растерянности, весь какой-то неприкаянный, от одного окна к другому, глупо улыбался и чувствовал себя мальчишкой в преддверии приезда больших гостей, все посматривал мельком на себя в зеркало, машинально приглаживал волосы, комкая платок в другой руке — волнение почти забытое, как бывало летом в усадьбе, когда ожидалось прибытие какой-нибудь великосветской бабушки из Смоленской губернии, и в царящей вокруг радостной суете совершенно неясно было, что ее приезд принесет. Как и тогда, в детстве, жаркую солнечную тишину с повисшими пылинками наполняло тиканье больших напольных часов. На резном комодe стоял кожаный акушерский саквояж — доктор Тильгнер пришел с помощницей, и ее собственный саквояж остался стоять тут, не востребованный, задавая своим присутствием нотки особенной молчаливой тревожной недомолвленности, в то же время радостно и сочно искушая, странным образом вписываясь в мысли о детстве. Он знал, что саквояж акушерский и в нем есть *все необходимое*, но что именно представляет оно из себя — Антон Глебович воображал весьма отстраненно и не совсем пристойно — стоит заметить, особенно теперь, на фоне общего радостного волнения. Движимый неожиданным молодецким куражом (молодой же ж папа!), он почти что дотронулся до гладкой рыжей кожи, когда двустворчатые двери торжественно распахнулись, разлетелись кисточки на портьерах, дрогнула кисея в окнах, и хозяйка саквояжа, благостно улыбаясь, с непонятными бледно-розовыми пятнами на белом льняном переднике сказала, сдувая выбившуюся прядь со лба: «Мальчик! У вас сын родился!»

Он был совершенно очарователен, с самого первого дня — лысенький, кругленький, курносый, с черными, как две изюминки, глазками, совершенно не похожий на обычных новорожденных, являющихся миру, как правило, в виде помятых, чуть синеватых нежных птенцов. Этот напоминал сдобную булочку и пах свежим хлебом. Варвара Павловна с его появлением слегка тронулась, это отметили все — но сумасшествие было вполне законным, ведь в поздних долгожданных детях, да еще сыновьях, души не чают. Поднося к лицу

запачканные пеленки, она закатывала глаза в блаженстве и приговаривала: «Корочкой хлебной пахнет...»

Колобковое детство было как вынутая из жестяной шкатулочки копеечная драгоценность, упакованная в белые хрустящие бумажки, бережно замотанная в салфетки из паутинообразных кружев — нелепых, ненужных, надушенных маслянисто и до легкого головокружения — соседствующая с кусочками святого дерева из Гефсиманского сада (дядя Лев привез из Палестины вместе с закупоренной в жестяную банку Тьмой Египетской и гладкими камушками яшмы, агата и хризолита — ах, был один эксцесс в Гаспре)... Варвара Павловна всегда одевала его в *парадное*, как маленького принца — сначала батистовые платьица, затем — бархатные сюртучки, рубашечки с кружевными манжетами с запонками и жабо, подколотые полудрагоценными брошками, жилетки с черными каменными пуговичками и с атласными ленточками сзади, ботиночки из телячьей кожи с пряжками и очаровательные белоснежные чулочки, ее находка — с помпончиками на шелковых тесемках. Все это вымазывалось в малиновом и черничном варенье, дырявилось о мебельные ручки, протиралось до катышек и ветошного лоска на натертых паркетных полах, скользить по которым с разгону было всегда так хорошо, разрисовывалось извлеченными из отцовского портфеля химическими карандашами, распарывалось и рвалось зачастую специально — в неудержимой тяге к познанию и в разлагающей всепрощающей вседозволенности. Антон Глебович сперва видел в сыне потенциального гения, и, сидя у колыбели, наблюдая за нехитрой работой его пухленьких, крепких белых ручек, размышлял в умиротворении, почти засыпая, о том, чьей стезей он пойдет — Моцарта, Толстого, Леонардо — этот новый маленький мальчик. Потом, с течением времени, когда Колобок упорно отказывался демонстрировать признаки каких-либо талантов, кроме, пожалуй, чуждого семье Маслещиков уличного, хулигански-босяцкого, и, обогащенный трофеями — перочинными ножиками, с инкрустированными ручками, чужими хрустальными чернильницами и даже часами на цепочке, — он заявлялся домой, удравший от заплаканной фребелички, и, проходя мимо застывших в дверях родителей, улыбался себе под нос, Антон Глебович думал: «Но ведь Ломоносов, поди, тоже в детстве босяком был...»

Однажды, в пахнущие марципаном и миндальным печеньем святки, когда Маслещиковы, жившие, стоит заметить, не так уж богато, устроили суаре, пообещав гостям настоящее рождественское представление, и поставленный на обитый шелком пуфик, сущий ангел в неостриженных еще, боттичеллиевских кудрях, чуть бледный от недавно перенесенной простуды, обвел уставшим взглядом собравшихся, и нехотя, нагло глядя в глаза приглашенным дамам произнес:

*Жэ па Невскому маршэ,  
Жэ пердю перчатку.  
Жэ шэршэ ее, шэршэ,  
Плюнул и опять маршэ.*

Потом проворно спрыгнул, все в этот момент только ахнули, и скрылся за дверями, громко хлопнув откуда-то из недр квартиры.

«Каков мерзавец!» — говорила потом нянька, отмахиваясь от жарко обнимающего ее, топчущегося ботиночками по полным бедрам в юбках Колобка.

Это прозвище, приобретенное практически с рождения, как нельзя шло малышу — словно настоящему на солоде, вымешанному со сметаной, словно с ржаной румяной корочкой, с каплями гречишного меда в волосах, он ластился и целовался, то ли по детской невинной тяге к мягкому и теплomu, то ли движимый рано пробудившимся мальчишеским и сильным — много и с удовольствием хватал ее за грудь, играючи, часто дышал, норовя укусить за ухо.

Тяга к пряткам путешествиям и побегам проснулась у Колобка рано, как это водится со всеми истинными страстями — выросла у него крепким сорным ростком вместе с прочим осознанием окружающего мира. Удивительно, что никто из домочадцев не выделял в нем этих склонностей, рассматривая их всегда как следствие совершенных перед тем пакостей, естественный бег от возмездия. А стоило бы задуматься, почему любимыми книгами Колобка были всегда те, где описывается чьи-то Путь и Скитания, дремучие леса, неведомые чужие земли, и при том превозносится идея абсолютного аскетизма, возможность жить сегодняшним днем и одним лишь хлебом насущным. Будучи еще *приготовишкой*, он рассуждал, что,

если человек может прожить на воде и хлебе, то все это излишество, с кофе глясе, помпонами и бельгийским кружевом на манжетах, послано человеку, чтобы задурить ему голову, отвлечь и сбить с Пути Истинного. Примерно неделю как-то выдержал без мяса, сладостей и каши. Вызывали доктора, и пост пришлось прервать, ибо гадостный вкус насильно вливаемых лекарств пересилил на время принципы. Решающий первый побег произошел зимой, в первый Колобковый гимназический год.

Это была одна из тех былых, Киевских зим, когда деревья в парках стояли, точно белые кораллы, когда заметало так, что задремавший в тепле своей каморки дворник не мог быстро отворить ворота припозднившимся жильцам, когда по Андреевскому спуску катались на санях, и шли туда со всех окрестных улиц, и разбивались там в кровь, не вписавшись в первый же поворот, и расхристанные, довольные, шумно брели домой. Левобережье и прочую Украину — гоголевскую, волшебную — заносило так, что рыли ходы от дома к дому, что утром в хатах темно было от снега, полностью залепившего оконца. Колобка на горки, которыми изобилует стоящий на семи холмах Киев, не пускали. Варвара Павловна ходила с ним в парк, любоваться «причудами природы», замерзшими фонтанами и пронзительно алой рябиной, носила в льняном платочке крошки для птиц, и Колобок, закутанный в шарфы и платки, как в поддерживающем корсете высоко задиравший подбородочек, устало смотрел на нее, не показывая к этим скромным забавам никакого интереса, а потом как-то сорвался вдруг и удрал, и мать его бродила допоздна, тихо причитая, выдувая нервное облачко пара и дотрагиваясь тонкой замерзшей рукой в снятой зачем-то перчатке до прохожих, спрашивая, не видали ли мальчика, и потом, когда Колобок был найден, городской говорил: «И не стыдно тебе, бабушка вон еле живая стоит». Колобок пристально посмотрел на Варвару Павловну, а она, не высушив слезы, жалобно улыбалась ему, совсем седая, совсем старенькая, и пробурчал, словно пережевывая: «Бабушка...». И так и повелось, что отца с матерью, стал он величать бабушкой и дедушкой, а они на это чудачество сперва не обижались, а потом как-то разом привыкли и, что ужасно, друг друга стали называть так же, с удовольствием грассируя, загоняя французское *n* высоко в переносицу — *гран ма* и *гран папа*.

Семейная идиллия у Маслещиковых длилась сравнительно недолго — финансовое положение Антона Глебовича серьезно пошатнулось в результате потерянных, по неопытности, векселей и невозвращенных долгов; страна, омраченная проигранной японской войной и растущей силой Старца, дрожала в преддверии больших перемен, зрело что-то... а Варвара Павловна, отжив известный женский ренессанс, вызванный поздней беременностью — разом как-то сдала, словно сдулась. Плохо понимала самые элементарные вопросы, с характерной отвлеченной, озабоченной поспешностью бормотала, не дав собеседнику закончить фразу: «Ах да, да конечно, право, ну что ж...» и, теребя шаль на груди, напряженно вглядывалась куда-то в дверной проем, или в окно, словно боясь пропустить Колобковое появление. Выходить с ней в гости и просто на улицу становилось все накладней. Колобок ее открыто стеснялся, а Антон Глебович все чаще проводил вечера в кабинете, в компании тяжелой шестигранной бутылки с золотым вензелем, пробкой шишечкой, а также портрета, во весь рост, австрийского императора Франца Иосифа, родом из той давней беззаботной жизни, когда с шумными визитами приезжали далекие гости. О путешествиях, которые так любили Маслещиковы, пришлось и вовсе забыть. А в былые времена, летом, они езживали к гимназической подруге Варвары Павловны на греческий остров Лесбос, а еще в Италию (Верону и Венецию) откуда привозились очаровательные *мильфьори*, выставленные теперь в шкафу. Спустя годы, когда от их квартиры на пол-этажа останется лишь одна комната, в которой в 1965-м будет доживать свой век племянница Варвары Павловны, щипанная в свое время Колобком и вымазываемая им чернилами Ирэнъ — всех-то сокровищ из той, до-революционной, довоенной жизни и останется — только эти *мильфьори*, лежащие в углу на балконе латунные диски с выступающими зубчиками, от музыкальной машины да неподъемный, из цельного дерева буфет, огромный, как иконостас с царскими воротами, который даже при всем желании охочих до чужой роскоши невозможно было ни разобрать, ни даже разрубить — над обтекаемой формы дубовым фронтоном с характерной завитушкой в стиле «модерн» так и остались четыре косых зарубки. Да что там говорить — даже теперь, когда коммунальная квартира в доме по улице Пушкинской расселена и приватизирована, буфет там так и стоит до сих пор, в золоте точечных светильников на подвесном потолке, в той дальней

комнате, где родился когда-то Колобок и, вырастая, играл стеклянными шариками с непонятно как засунутыми в них цветами, которые перемежались фотографиями венецианских гондол и поросших кипарисами приморских террас с белыми дворцами.

Три раза в неделю к ним приходила девка Маня и приносила свежие молоко, сметану, творог, яйца и иногда запеканку — такую же бесформенную, плотную, румяную, как она сама. Антон Глебович всегда радовался ее приходу (как с городской интеллигентной приветливостью радовался вообще всем гостям) и выступал откуда-то из комнат: тонкий и чуть согнутый, как стручок, с рыжеватым молчалистым чубом, в пенсне, с козлиной профессорской бородкой, и, прихлопнув, потирая руки, говорил не «сметана», а всегда почему-то «семито-хамитана», и Маня косилась на него недоверчиво исподлобья, слыша в этом искажении речи что-то родное, свое, дворовое, но в устах господина профессора звучащее с определенным, неприятным ей подвохом. Для mnogой прислуги дом Маслещиковых после рождения Колобка сделался странным местом, нельзя сказать, что неприятным — но бывало, выходя из квартиры через парадный, что являлось свидетельством демократичности хозяев, мешкая в парадных дверях, между которыми, как водилось во многих старых квартирах, образовывалось пространство равное по ширине небольшому шкафу, и где все юные жители подобных квартир играли в прятки, наступая на хранящиеся там калоши и зонтики — переживали конфуз. Из того темного полукоридорного пространства между дверями на Маню (и многих других), бывало, выпрыгивал младший Маслещиков — в шелковой рубашке в кружевных манжетах, в бархатных коротких брючках с тирольскими подтяжками и нарисованными чернилами усиками, (точно как у того, кто готовился сотрясти мир спустя полвека), и молча, тихо, как хищник на охоте — выверенным движением хватал за зад под юбками.

Вопреки родительским ожиданиям, рисуящим разнообразные прогнозы дальнейшей, героической и сумасбродной жизни «младенца» (как величали его даже после совершеннолетия) — младший Маслещиков годам к двадцати резко остепенился, и ушел, кто бы мог подумать — в науку, в совершенно неожиданную, лишенную горячих тайн, четко разлинованную ее область, связанную с инженерным конструированием. Кое-что от сумасбродной романтики таки



осталось, конечно — но в крупных формах, воплощенное в полете на цеппелине, например, когда родители от волнения чуть с ума не сошли, а ряд мещанских светских дамочек, причем постарше, вспомнив, как много лет назад были щипаемы в коридорном полумраке у Маслещиковых на Пушкинской, смотрели горячо и восторженно, готовые теперь *на многое*. Но повзрослевший Колобок проявлял к дамам, всем без разбору, противное высокомерие, и о нем пошла даже в некотором роде молва, как о великом авантюристе и загадочном черте из тихого омута. Внешностью он был не обижен — пошел в арийских прадедушек, темно-рыжий, без веснушек, с белой, словно не мужской кожей (ах, как любила мать целовать его в щеки), пухлыми губами, сложенными в растревоженное полуокругливание, с тонким длинным носом и глазами цвета зеленоватой древесной смолы. Колобковая сущность в плане личных побед и озорства была проста и открыта, как гладко прорисованный чертеж, и, например, от предложений своих молодцеватых увлеченных товарищей слетать *на авиетке*, Колобок отмахивался, мол, небезопасно. И, совершив ряд никому неизвестных, маловыразительных любовных пассов, словно списанных под копирку, возмужавший, чуток оплывший от малоподвижного образа жизни и калорийной домашней стряпни, вел образ жизни тихий и оседлый — выбираясь разве что в концерты в Купеческое собрание. В быту, впрочем, слыл новатором и оригиналом в некоторой мере: у Колобка появился один из первых в городе ватерклозет, привезенный из Вены, пользоваться которым домочадцы побаивались. Дело в том, что свои инженерные способности Колобок успешно испытал на сооружение системы труб для этого чуда, и этот новосозданный орган издавал время от времени ужасающие звуки, клокоча и завывая. На стенку в прихожей повешен был телефон — с деревянной ручкой. У Колобка имелся так же импермеабль — прорезиненный плащ, а еще самопишущее золотое перо и печатная машинка «Мерседес-Селекта». Колобок презирал венский шик в одежде и одевался строго, но дорого, в английском стиле — в твид и фланель, волосы носил по новой моде — намного длинней, чем принято, так, что золотисто-медовая прядь, падая на лоб закрывала косо почти все лицо аж до скулы. Слушал модную музыку — Скрябина, Стравинского, Дебюсси... И зевал тайком. Читал Блока. Хлебникова тоже — но, хотя это скрывал от всех, «не понимал такого...». Знал о Кандинском, уважал его —

нужно было уважать, как «самое современное», но у себя в кабинете повесил здоровенную картину Котарбинского «Юная римлянка, идущая к священному источнику с дарами девичества». Такая, несколько пикантная... но в меру.

Колобок довольно смело и открыто заявлял, если заходила речь, о своем атеизме, но вечерами, бывало, когда сон не шел, сквозь поплывшие в уме чертежные линии, задумывался о Боге. Читал Шопенгауэра и первые труды Бердяева. Бердяев, кстати, все в те же пряничные, пахнущие апельсинами и марципаном жарконатопленные святки родом из детства как-то был торжественно приведен к Маслещиковым, Адрианом Праховым, и долго беседовал с отцом, пока Колобок, опьяненный обилием новых лиц, где-то увлеченно пакостил. Постепенно идея атеизма ужилась в его сознании рядом с принятием многих христианских догм, разве что вместо божественного начала стояла над ними сведенная многоступенчатой физической формулой элементарная жизненная гармония, доказанная математикой, к которой стремятся, сбросив лишние плоскости, любые формы, будь они одухотворенные или создаваемые человеком из дерева и метала.

«Удивительно, вот и во мне — гармония...» — бывало, думал он о себе — перспективном, взятом под опеку самым лучшим научным наставником, какого только можно было бы вообразить в то время.

Февральский Киев в тысяча девятьсот семнадцатом году был спокоен и безмятежен, в отличие от переполошившегося после убийства Распутина Петрограда и бредящей заговорами, ощерившейся Москвы. Несмотря на войну — что невнятно грохотала где-то там, в студеной дали *и не у нас* — работали конторы, общества и биржи, работала земская управа, и празднично горел окнами, бренчал легкомысленной музыкой и бокалами неунывающий «Шато де Флер», и дамы с голыми плечами, сидя боком на стульях, запрокинув нога на ногу, улыбаясь сквозь папиросный дым, болтали и жеманничали, и господа в шелковых галстуках, с золотыми часами, усатые, хмельные, распаренные, краснолицые, жадно смотрели на них, и между кончиками их пальцев, ноздрями и взглядами проскакивало вдруг что-то, от чего сердца бились быстрее. Казалось в этот миг, что почва под ногами крепка как никогда, и сегодняшний день, и завтрашний принадлежат им безраздельно.

Спокойствие февральского Киева несколько нарушила известная телеграмма от двадцатого числа — однако, всколыхнув весь город, при этом не изменила течение жизни семьи Маслещиковых. Лето прошло тоже более менее спокойно, если не считать июньской стычки с большевиками. Сильно захворал гран-па, а ушлый семейный доктор (не Тильгнер), имевший опыт кропотливого вытягивания Антона Глебовича из подобного состояния парой лет раньше, уехал навсегда в Швейцарию. Словом, опомнились только к ноябрю, а в ноябре 1917-го вдруг начали стрелять. Совершенно неясно было, кто в кого стреляет, какие цели преследуют группы и отдельные личности, что короткими перебежками, тяжело дыша, забегали к ним во двор, присев на одно колено, целились в невидимого противника (а из окон хорошо просматривалось направление выстрела и пустота за ним), потом снова бежали. Все время бегали и стреляли. Жильцы домов объединялись для круглосуточного дежурства, хотя тогда еще в квартиры никто не врывается, простых горожан не беспокоили — чужаки разбирались сперва с чужаками. Ночью непрестанно глухо бухало что-то на северо-западе, со стороны Святошина и Петропавловской Борщаговки небо озарялось бледно-розовым. Днем их квартал попеременно захватывался то красными, то незалежниками, то белогвардейцами, которые гонялись друг за другом без видимого военного плана или стратегии. Интеллигенция Киева, тем временем, взбудоражено клубилась в ярко освещенных гостиных, постаревшая Маня все так же приносила семито-хамитану, и впадающий в старческое безумие, жалкий и дряхлый, с провисающими штанами Антон Глебович пытался с ней флиртовать; плодились и процветали различного рода магазины и лавочки — в город на время стеклись петербуржцы и москвичи, с их капиталами, настоящими и поддельными бриллиантами, картежными долгами, любовницами-певчихками, а так же с целыми редакциями газет и альманахов, с полоумными поэтами, и продажными журналистами. Помимо них, само собою, осело в Киеве множество прочего разношерстного люда — врачи, банковские служащие, актеры и священнослужители.

После ожидаемого отречения Государя и под нажимом новой неустойчивой власти в тот год стали вершиться новые страшные дела, на которые общественность, впрочем, пока еще смотрела сквозь пальцы. С началом военных действий в Киеве в Покровский монастырь тащили за бороды евреев и стреляли там у стены, вывозя ночами груженные

и наспех накрытые телеги. Поползли среди горожан слухи о чудовищных в своей жестокости погромах в Умани и на Подолье, где, превратно истолковав сложившуюся политическую ситуацию, близкую к анархии, ушлый и охочий до чужого люд стал вершить свои порядки, и вымазанные сажей, в вывернутых наизнанку тулупах и надетых задом наперед бескозырьках, то ли петлюровцы, то ли махновцы шли убивать и грабить не ради идеи, а просто для себя, глумясь над телами убиенных, а поутру бывали убиты сами своими же полководцами, чтоб не повадно остальным было чинить такую жестокость, но нелюдей ничто не останавливало... и поползла по Украинской земле красно-черная смута. И именно в этот период, когда дни стояли чуть ли не самые короткие, и мела поземка, холод заползал сквозь выбитые стекла, а в Киеве выходить из домов становилось небезопасно уже в любое время суток, когда жить перебрались в комнаты окнами во двор, прощаясь с разбитой пулями мебелью в гостиной, привыкшие почти к постоянным взрывам и спящие отрывками по несколько часов в сутки, прислушивались к каждому шороху — именно это неудачное время выбрал Колобок, чтобы навсегда уйти от своих старых родителей.

Просиживая ночами над кульманом, в завораживающей геометрии линий он вдруг ясно увидел всю тщетность родственной суеты, и благородный путь одиночества нарисовался вдруг перед ним, выложенный словно из лунного луча, шаткой зыбкой стезей. И прямо на ночь глядя, упаковав небольшой саквояж, ни капли ни о чем не сожалея, он ушел в озаряемый пожарами, безлюдный в ранних сумерках город.

Ночь была светла от пожаров, горел весь центр, горела уходящая на запад Соломенка, горел Подол, отражаясь в белом заснеженном изгибе Днепра, бликуя рыжим на темный Труханов остров в голых деревьях. Из-за этого света, странных теней, странного свойства освещения дворов, темные углы которых, невысвечиваемые ранее даже луной, вдруг обнажились среди тьмы, Колобка не покидало чувство некой возвышенной фантазмагоричности, грандиозного переворота не только в жизни его страны, но и в его собственной, наконец-то освободившейся, душе, не отягощенной балластом ненужных привязанностей. Он шел торопливо и чуть поскальзываясь, озираясь по сторонам, и в путанных своих мыслях искал отчего-то подходящую математическую формулу, способную дать объясне-

ние происходящему, которое, при прочих неопределенных знаменателях, взаимно сокращаясь, стремилось сейчас к совершенному и абсолютному нулю, являющему собой, уже в другой, выпирающей из облаков формуле — совершенную же бесконечность.

Транспортное сообщение на это время было прекращено, уехать из города не представлялось возможным. На вокзале раскинула ноги в валенках, рассыпала котомки ожидающая нервная толчея, мающаяся от неопределенности и бездействия. Воздух там был отнюдь не свеж, и Колобок вышел на привокзальную площадь, глядя на пылающий, *перерождающийся* город на холме перед собой. Особенно страшны были почему-то алые отсветы на темном, без единого огонька курчавом провале Ботанического сада.

И тут неожиданно на него кто-то скакнул, обдавая острым на морозе запахом ландышевой эссенции, что аж захотелось зажмуриться, и тонкие, холодные, проворные лапки забежали по нему всему — за время, в которое уложилось короткое, одними губами с облачком пара вымолвленное приветствие, успели уже пожать мозоль от пера на среднем пальце, коснуться уходящего под пальто запястья, скользнуть по рукаву, смахивая снежинки, кончиками отполированных ногтей пройтись по воротнику, откуда жаркой прелью дыхнуло его здоровым мужским телом, обмакнуть в холодную влагу снежной мороси на ранней продольной морщинке на лбу с некрасивой оспяной лункой в форме расплывшегося ромба.

— Колобок, колобок, а я тебя съем! — улыбаясь широкими, некрасиво выступающими вперед зубами, хихикнула вечно юная Зоя Заячковская, в мелких темных кудряшках, в игриво подколотой набекрень нелепой в этих обстоятельствах охотничьей шляпке с вуалеткой.

Колобок изобразил на лице улыбку, и, аккуратно убрав ее руку со своего загривка, задержав, для приличия, на миг между ладонями, сказал:

— Ты не ешь меня, хочешь, я расскажу тебе про одиночество?

— Ох, не говори мне про одиночество... — потускнев лицом, она опустила голову и, ежась, спрятала ручки в весьма потрепанную лифсю муфту.

— Одинокий путник идет дальше других... — ответил он, замешкавшись таки, соотнеся амплитуду своего следующего шага (решительно вон отсюда), с ее присутствием рядом.

— Но мне... — сказала Зоя совсем серьезно, глядя на него пронзительно снизу вверх, казалось, даже чуть присев. — Совершенно. Некуда. Идти!

Последнее слово она прокричала, начиная плакать.

Колобок еще раз окинул ее взглядом, уже более пристально, отмечая с досадой и жалостью, что обута она в насквозь промокшие белые лайковые бальные туфельки без калош, и из-под сака, почерневший от снега и грязи, липнет к ногам пронзительно фиолетовый атлас в золотой вышивке и с бахромой.

Вздохнув, он подставил ей локоть, за который Зоя вцепилась, и стараясь не дышать, чуть улыбаясь, тихо пошла рядом, не прижимаясь, то и дело рассеянно, не ища никого, оборачиваясь на полутемное здание вокзала.

Они познакомились много лет назад, шелковистым с белыми вечерами июнем, в дачном пригороде. Вряд ли из нынешнего почти четырехмиллионного населения Киева найдутся хотя бы пару сотен тех, кто знает, что такое Кинь-грусть. А на северной окраине, в месте, примерно, где сейчас находится отрезанный от города чащами смешанного леса микрорайон Пуща-Водица, стояло до революции множество дач — деревянных, с окнами с фрамугами, с ромбовидным резным декором на верандах, с буйными зарослями жасмина и сирени вокруг. Места звенящего утреннего солнца, мшистой прохлады, запахов сада, лишенной сельских петухов тишины, плетеной из лозы мебели, кусочка сливочного масла в фарфоровой масленке, теплых самоварных щек с пряным вишневым дымком, места давно прочитанных и вновь обретенных книг, поздних вечеров, сигар, наливочки, крепкого детского сна. Одну такую дачу много лет снимали на лето Маслещиковы, и водились у них там приятели, среди которых упомянутый ранее Адриан Прахов, личность настолько легендарная и известная в истории художественно-богемного Киева, что не имеет смысла на ней останавливаться, дабы не уходить в сторону. Стоит только заметить, что там, у Праховых собиралась всегда масса интереснейшего народу, бывал там и молодой Бердяев, говаривал про одиночество... И теперь, морщась от летящей в глаза снежной мороси, ведя за собой покорно и молчаливо семенящую Зоечку Заячковскую в промокших бальных туфельках, Колобок почти физически ощутил, как два конца исполинской ленты Мебиуса, олицетворяющей одновременно безысход-

ность и бесконечность жизненного пути — встретились и сомкнулись. «Через момент одиночества рождается личность», — говорил молодой философ. Тогда Колобок частенько заглядывал в пропасть, сформулированную словами «зачем есть я?». В апатии вспоминая картину Котарбинского у себя в кабинете, с юной римлянкой, несущей дары своего девичества, думал, что такому как он — *L'avantgarde*, с глубоким внутренним миром, где перевариваются сейчас новые строки Мережковского (о ежедневном чтении «Киевских ведомостей» начиная с последней страницы, раздела «происшествия», он в такие моменты не вспоминал) трудно найти особу, близкую по духу... и Зоя Заячковская, с очаровательно ассиметричным лицом, сильно напудренная, загадочно улыбалась рядом, упираясь кончиком языка в дырочку между передними верхними зубами.

Ни в коей мере нельзя сказать, что Маслещиковы тесно дружили с Праховыми и их кругом. Колобок тогда просто зашел к ним на дачу оставить визитку, как принято было, поздоровавшись в начале сезона, но горничная попросила его обождать, пошла звать хозяйку — у них там как раз готовился спиритический сеанс и не хватало участников, «чтобы блюдечко двигалось». Так он оказался в праховской гостиной под низко опущенным зеленым абажуром рядом с Зоей, и в нужный момент их мизинцы коснулись, дрожа от напряжения, и Колобок, конечно, отметил, что вся она — будто сложена из разнообразных милых тонких кривоватостей. Разумеется, и говорила с неуловимым акцентом, чуть картавя, и суставы ее пальчиков с лапками отчего-то показались ему такими же интересными, как все то остальное, на чем обычно задерживается мужской взгляд в подобном ракурсе, двигаясь от столешницы прямо и вниз.

Закончив с духами, в которые Колобок все равно не верил (с интересом реагируя лишь на обязательные условия их вызывания — что стол, например, должен быть только из цельного дерева, и без единого металлического гвоздя), потом сидели на веранде под распахнутыми окнами, за которыми стрекотала и шелестела влажная прятная ночь, курили сигары и пили херес. Зоя собиралась еще куда-то, она переживала не совсем добропорядочную связь с одним пожилым и важным господином полковником с бакенбардами и пузом, откуда-то из Петрограда, и ему обычно было не интересно у Праховых, а Зоя, повиснув на нем, своим детским голосом канючила: «Ну совсем чуточку...» И в тот вечер она была в гостях таки одна и Колобок ска-

зал, что пойдет придется, проведет ее и там еще к университетским знакомым зайдет — со второго этажа был виден свет в их даче. Но до дачи той никто не дошел, потому что обрушилось на них с Зоей удивительное, не совсем понятное, несмотря на свою опостылевшую, изученную со всех дырок животную суть, приключение. Приключение затем повторилось два раза («три, ах ты убиваешь меня... три же!») — восклицала потом, декабрьским вечером Зоя у себя в меблированных комнатах, под грохот и отблески, как раз в момент, когда вражеский снаряд попал в деревянный нужник на дворе, окончательно разворотив его, над чем потом долго смеялся весь Подол).

Полковник ее вскоре бросил, и Зоя жила с одним художником, очень бедным, к тому же пьяницей, в крошечной комнатке в полных клопов меблирашках на Подоле, и сбегала периодически, да все как-то бестолково, потом говорила, что просто любила его — похожего на Христа (а многие киевские художники и поэты в определенные периоды своей жизни становятся похожими вдруг на Христа), а художник пропал без вести (нашли его в канаве на Ямской с проломленной головой и обезображенным лицом — если б не приметный артистический бурнус, и не узнал бы никто). Уже начались эти новые волнения и смута, Зоя осталась болтаться где-то сбоку богемной жизни, никому не нужная, к тому же совершенно без денег, без постоянного спутника. И все чаще напивалась, коротая вечера в компании грубых, пахнущих немытым телом торгашей и менял, глумящихся потом меж собою над ее чудаковатой угловатой худобой и манерной речью, пересыпанной французскими идиомами.

— А я ушел... — сказал ей Колобок, пока ноги сами несли их обратно по Владимирской, почти что мимо его дома. Над их головами нередко свистели пули, периодически что-то разрывалось, трещало, и из-за пожаров было светло и жутко.

— Ушел от своих старичков, ах, как ты мог, в такой момент... и куда теперь? — детским голосом проворковала Зоя, чувствуя, как сердце предательски сжимается и одновременно самопроизвольно сжимаются и ее окоченевшие пальцы вокруг его предплечья.

— Я не знаю... это не важно. Я просто хочу покончить со всем, что было в моей жизни ранее. Жить без всего. Понять, что есть я.

— Ах, как это мило!

Колобка чуть передернуло, но неожиданно в этой неуловимой брезгливой судороге, которую встречало Зою Заячковскую все боль-



пее количество людей — в конце ее, ощутил и неожиданное потепление на сердце, что-то такое пронзительное, светлое, какую-то упоительную жалость, и вспомнились слова из Писания, о блаженных. И, по-отечески накрыв ладонью ее пальцы на своем локте, сказал:

— Я бы не согласился, что это мило, *ma chere*, мой побег от гран-мама и гран-папа — это самое чудовищное предательство из всех доступных мне, но без него не быть мне тем собой, каким хочу я родиться вновь, а рождение в любом смысле, пусть метафорическом, увы, всегда сопряжено с болью.

И чуть позже, растопив непослушную печь-голландку в захламленных, запаутиненных Зойкиных комнатах, прижимая ее к себе — в детской ночной сорочке, с полуприкрытыми козьими глазами, криво ставящую босые тощие ноги, целуя в жесткие кудри над виском:

— Не привязывайся ко мне, Зоя, я ушел от гран-мама и гран-папа, от тебя тоже уйду.

Но Зоя почему-то не плакала, а мечтательно улыбаясь, принимала его поцелуи, смотрела в даль и думала совсем иначе.

— Колобок, мы же два уroda с тобой... мы блаженные, мы связаны там, — говорила она, разливая по стаканам мерзкое кислое вино, закусывая переданными пропавшему мужу из родного села солеными огурцами и кислой капустой, какую зачерпывала руками прямо из глиняного бочонка, паясничая и жеманясь, ловя языком, шумно потом запивая, морща нос, — ты всегда был сумасшедшим, и я тоже... я не скрываю... просто эти все милые мои причуды, о-хо-хо, для кого-то со стороны сдаются дорогой вниз...

В этот момент в дверь забарабанили. Дом вообще был шумный даже в мирное время, а сейчас лестница ходила ходуном круглые сутки, словно раскачивая за собой межэтажные перекрытия со стенами. Хлопали двери, иногда стреляли, орали голоса знакомые и чужие, и гремел все время бесконечный топот солдатских сапог.

— Зойка! Зойка открой!

Она прыснула, приложив указательный палец к губам, и поджав под себя ноги, пьяно махнула, чтобы Колобок оставался сидеть на месте.

— Отопри, каналья!

— Это ко мне... Сейчас он уйдет... Я ему денег должна...

Вскоре стук и впрямь прекратился.

— Со стороны сдается, будто я упала непоправимо... но это и есть мой путь от себя, Колобок. Сейчас я прозрела, что мы с тобой... каждый совершил свой путь... и встретились мы, *comprennes*, в ином, в нашем измерении, и где?! На вокзале! Разве это не рок? Разве это не символично?..

Четыре недели они провели безвылазно в Зойкиной конуре — много очень пили, съели всю капусту и колечки домашней колбасы в банках, залитой жиром, съели померзшую уже картошку и крепкий мелкий лук из лукошка. Когда кончились дрова, стали топить подрамниками, срывая эскизы к так и не написанным гениальным произведениям пропавшего Зойкиного мужа.

— Как же мы живем? — удивлялся Колобок, уже три недели ходивший в исподнем.

— Прекрасно мы живем... еще немного, милый, и катарсис завершится, мы станем жить как все, я бы родила ребенка тебе... еще не поздно... мы бы уехали в деревню, на хутор, и жили бы там вдали от всей этой суеты, я бы ходила босиком, *comprennes*, завели бы коз и корову. Самое главное, что хутор этот есть, там я была... меня Загорский туда возил, лечиться...

— Кто возил? — переспросил Колобок.

Зоя, польщенная его интересом, закурила, глубоко затянувшись, и нервно помахала спичкой, чтобы погасла.

— Загорский... не важно... но там меня всегда ждут. Там простая жизнь, лишенная политики, там Бог, земля и собственные руки, и в этом счастье... а главное наше предназначение тут — это наши дети. Наше главное творчество, помнишь, как про Коку и Олю говорили у Праховых? А что, дети — главное. А мы с тобой, пройдя отречение... да Господи, сама судьба нас наставляет, война, переворот, это же знак нам с тобой, нас с тобой столкнули сперва на том спиритическом сеансе... о... Господи, как же очевидно это все! И теперь... тотальный крах, катарсис, Киев в огне... вся Русь горит, и мы с тобой тут, и вероятно я понесу от тебя...

— Откуда ты знаешь так скоро? — деловито перебил ее Колобок  
Зоя загадочно улыбнулась, поднимая глаза к потолку:

— Женщина всегда чувствует приход новой жизни...

На следующее утро, допив, наконец, кислого вина из зеленой бутылки (а было там с полчашки), окинув уставшим взглядом залитую

молочно-белым мутным светом спаленку, Колобок отправился на поиски своих вещей. Дорожный саквояж нашелся тут же — у входных дверей, ни разу тут не распакованный. С одеждой было хуже. Стараясь не шуметь, чтобы не разбудить Зою — разметавшуюся на подушках, даже во сне косенькую, напялил вполне приличные брюки ее мужа, отчаявшись найти свои собственные. Пару раз прошелся щеткой по штиблетам, оглянулся последний раз на Зою, которая в четырех квадратах платинового морозного солнца из окна лежала, словно обрамленная паспарту из теней и с крестом посередине себя, вздохнул, борясь с горькотой, подкатившей к переносице, и тихонько вышел.

В этот же день в город вступили немцы. Сутки до того войско стояло под Киевом и мылось. Они вошли — нарядные, сильные, сверкающие, огромное количество новых здоровых мужчин, и Зоя, кутаясь в шаль, прислонившись к углу своей подворотни на Юрковской, смотрела на них безумным взглядом, думая совсем не о том, о чем думала бы в аналогичных обстоятельствах месяцем ранее:

— *Ушел... господи... ушел-таки... ушел... как жить теперь... ушел...*

В конце января 1918 года Колобок переместился на время в Харьков, где встречен был университетскими приятелями, принявшими сторону красных, и, налегке, отрекшись от всего своего прошлого уже окончательно, примкнул к ним, засев в военном штабе, выполняя все ту же инженерную работу, носившую теперь оборонно-наступательный характер.

На квартире его разместили у Галины Ведмидь — грузной печальной женщины, вдовы поручика, почившего в первый же день японской войны, матери погодков Алешеньки и Митеньки.

Фигура Галины Степановны являла собой весь трагизм несоответствия тонкой, робкой души и великанообразного мощного тела ста восьмидесяти семи сантиметров росту, с широченными сутулыми плечами, мощной шеей, выступающей вниз и вперед челюстью, что придавало ее и без того властному грузному лицу вид суровой неудовлетворенности. А сама она всю жизнь боялась мышей, и незнакомцев, и сварливых приказчиков, и плакала от всякой мелочи, оставшись без мужа оказалась совершенно беспомощной, не в силах свести концы с концами.

Колобок Галине Степановне понравился с первого взгляда. Он был пригож, опрятен, вежлив, мужественно сдержан и при внешней приветливости производил впечатление глубоко одинокого человека. Изголодавшаяся даже не по ласке, а по элементарному мужскому пониманию, никем в своей жизни, собственно, кроме покойного мужа, не понятая, Галина Степановна чувствовала, как подсакивает в ее великанской груди мощное доброе сердце. Она хотела быть полезной и развить свою роль в жизни нового квартиранта от пассивного, не требующего никаких видимых усилий, предоставления жилой комнаты, до чего-то более очевидного и оцениваемого. Но спектр возможных действий, равно как и размах ее фантазии, были чрезвычайно скудны, и, как всегда прозевав Колобковый утренний подъем, Галина Степановна в наспех накинутом халате и папильотках просто бросалась ему наперерез, замирая в полутемном коридоре перед дверью в уборную розово-бежевой в рюшах глыбой, и Колобок останавливался перед ней, непринужденно улыбаясь, кивая в знак приветствия, отмечая каждый раз, что у глыбы парадоксально тонкие щиколотки и икры как для такой комплекции. Это придавало невинному затянувшемуся кивку дух перехватывающей двусмысленности, и так они и стояли оба, Галина Степановна нервно, с готовностью быть полезной улыбалась, Колобок улыбался в ответ и потом, спохватившись, она отступала, так и не озвучив одну из десятка еще с вечера крутящихся в голове фраз («Выспались?», «Я бы какао с молоком приготовила, будете?», «Наверное, сегодня будет солнечно» и так дальше — все чересчур фривольные, по ее мнению, для нейтрального утреннего момента коридорной встречи).

По воскресениям она с раннего утра уходила на рынок и долго выбирала у крестьян самые лучшие продукты, и стряпала потом полдня, стараясь и нервничая (а талантами Галина Степановна была не наделена вообще никакими, даже самыми простыми бытовыми женскими), расстраивалась от того, что задуманные быть изысканными блюда имели простоватый жирный вкус. Накрывала на стол в гостиной, вынимая парадную скатерть и уцелевшие тарелки из двух сервизов, и из пузатой супницы с позолоченными ручками в стиле ампир вечно на скатерть капали пара маслянистых оранжевых капель. Уставшая, с гудящими ногами, с туманом в голове, Галина Степановна срывалась на сыновьях, заприметив некстати торчащую из-под дивана игрушку или какую-то детскую

мелочь, раскиданную на видном месте. Ребята спали в «зале» на двух кушетках, и пунктом воскресной программы было убрать все следы их присутствия в доме. К обеду они надевали белые парадные рубашечки, из которых выросли и которые больно жали горло. Когда все было готово и стояло на столе, на ватных ногах и с шумом в ушах, чувствуя себя крошечной худенькой девочкой, Галина Степановна стучала в дверь квартиранта, закусывая верхнюю губу и не дыша, в ожидании скрипа паркета под его шагами. Он открывал, и получалось что она стоит очень близко, в лицо будто било жаром, как из духовки, Галина Степановна отшатывалась, и как можно более сухо спрашивала, властно глядя сверху вниз: «Может, отобедаете?» — и Колобок всегда отказывался. Галина Степановна и сыновья кушали в одиночестве и тишине, перебиваемой плямканьем сорвавшейся с вилки еды, коротким хихиканьем кого-то из мальчишек и звонкими, несправедливыми затрещинами от их уставшей матери.

Новый постоялец был тих, опрятен, образ жизни вел крайне аскетичный — вечерами сидел дома, шуршал вечным пером, и сквозь желтую щель в полуприкрытой двери словно веяло теплом и уютом, которых так не доставало в жизни Галины Степановны и ее бедных мальчишек. Она останавливалась иногда под этой дверью, задержав дыхание, держа в руках какую-то мелочь вроде графина с компотом или блюда с куском только испеченного жаркого пирога в жирных крошках, и не решалась войти. Потом, когда без воздуха становилось невозможно, удирала оттуда, лишь в дверях на кухню позволяя себе отчаянный шумный вдох.

Но однажды, когда кислородное голодание уже отбило слух и помутнило зрение, оставляя лишь силы на сжимание графина с мутным коричневым компотом, дверь неожиданно распахнулась, и на пороге возник Колобок, взволнованно глядящий на нее снизу вверх. Галина Степановна шумно, с удовольствием вздохнула, чуть помотав головой, отпрянула немного назад.

— Вы тут один совсем, я смотрю... вот, попейте, свеженький...

Колобок взялся за графин, но Галина Степановна не отпустила:

— Через порог нельзя!

Оба улыбнулись, Колобок отступил, пропуская ее в комнату.

— Так я смотрю, вы совсем один все время...

— Каждый человек может быть самим собою, только пока он одинок, — ответил, скромно улыбнувшись своему знанию Фрэнсиса Бэкона, Колобок.

— А кто же вы? — неожиданно осмелев, спросила Галина Степановна.

И Колобок начал ей рассказывать о своей жизни — все то, что было рассказано сладко-шепелявой, нежно-кривоватой Зоеньке Заячковой в хмельной темноте подольских мебелирашек. И в конце рассказа, блестя на него добрыми карими глазами с янтарным отливом, Галина Степановна взяла его за руку и неуклюже, как дитенка, погладила, стискивая и пожимая. А Колобок вдруг соскочил на пол, сел у ее ног и, высвободив большую и бесформенную, как лапоть, ступню из домашней тапочки и провел пальцем по тонкой щиколотке с трогательно выпирающими, натянутыми белой кожей косточками. Морща лоб и вытаращив глаза, Галина Степановна нервно засопела, стискивая изо всех сил подушку кресла, в котором сидела.

Этим же вечером, уложив мальчишек на их спальные места, Галина Степановна, торжественно посторонившись, пригласила кивком из темного коридора товарища Маслещикова с томом русских народных сказок подмышкой. Приветливо улыбнувшись мальчикам, он сел в кресло между кушетками и провел обряд вечернего чтения, а Галина Степановна, не зная, куда деваться, стояла в дверях, теребя халат и тихонько вздыхая от умиления, вздрагивая и грозя кулаком, в моменты, когда мальчики, казалось, плохо слушают.

Затем, потушив свет, они вдвоем удалились во вновь ожившую, зашуршавшую накрахмаленными простынями, запахшую цветочными духами родительскую опочивальню.

Утром, когда алый с изморозью рассвет окрасил золотисто-рыжим оконные рамы и разохшийся подоконник, тонкой тлеющей полосой расчертил перины и подушки, бликуя рыжей ртутью с портрета усатых, мордатых дедушек Медвидей, Галина Степановна крадущейся походкой выбралась на кухню, вскипятила молоко с какао, налила в фарфоровый кофейник, поставила на извлеченный с антресолей, вытертый от тараканьего помета медный поднос, так же положила льняную салфетку и остро пахнувший корешок ванили — непонятно зачем, но «как в лучших домах Москвы» — подумалось ей.

Поставив поднос на стул с аккуратно сложенной Колобковой одеждой, она опустилась на край кровати и смотрела какое-то время на его

спящее лицо — молодое, румяное, несмотря на раннюю весну и повсеместный авитаминоз, будто немного загоревшее, будто отливающее золотом, как отливала бы румяная хлебная корочка в этом боковом утреннем освещении. Неожиданно он открыл глаза, Галина Степановна шумно вздохнула, нависая над ним, теребя кружева на нежно-розовом пеньюаре, все еще хранящим затхлый дух старого сундука.

— Я тебя съем, — басом, чуть смущаясь, сказала она.

— Ох, не ешь, не ешь... — потягиваясь, ответил Колобок, с неприятной досадой отмечая поднос с кофейником и веточкой ванили. — Всякий, кто любит одиночество — либо дикий зверь, либо Господь Бог... — во время всплыла в памяти цитата из Шопенгауэра.

— Как ты сказал?

— Мой путь... Галя... мой путь не приемлет компании, пойми, я бы не хотел, чтобы ты привязывалась ко мне. Ты славная женщина... просто я не создан для такого. Я ушел от гран мама и гран папа в самый мерзкий момент, какой можно было только вообразить, я бросил беспомощную, кривенькую, косую, но в целом совершенно очаровательную Зоеньку Заячковскую, не исключено, что беременную... я совсем не уверен, Галя, что буду с тобой...

Но она только вздохнула, убирая за ухо выбившуюся из некрепкого узла на затылке жирную прядь. И вернувшись вечером домой, Колобок сам, без приглашения, проследовал в «залу» с уже расстеленной, в его ожидании, нарядной скатертью на столе и с отсутствием каких-либо признаков детей по щелям и углам, ел блины — с одной стороны подгоревшие, с другой недожаренные, запивал компотом, аккуратно выплевывая черенки и косточки. Читал на ночь мальчикам, тихо появившимся сразу в ночных сорочках, словно из ниоткуда. Вешал свою одежду на спинку стула у массивной двуспальной кровати. Носки вкладывал в туфли. Утром пил какао с молоком. Ходил по делам. Следил за ручкой с вечным пером в руках у товарища Глебова, которой тот водил по карте и строго глядел из-под фуражки с красной звездой, периодически округляя тонкие бледные губы под соломенными усами. И думал тем временем: *«Киркегардт говорит, что Абсолютное есть то, что разъединяет, а не соединяет...»*

И однажды, воскресным утром, когда Галина Степановна была на базаре, а мальчики сидели на кухне тихо-тихо, друг напротив друга и что-то писали, поскрипывая карандашами, взял свой небольшой дорожный саквояж и ушел, не прощаясь.

Галина Степановна, запыхавшись, тяжело топая, вошла в квартиру, бросила сумки на пол, так что одна перекосилась и покатились, следя сухим черноземом, картофельные клубни, рассыпались перья лука. Загремела на кухне сковородками и кастрюлями. Всегда получалось что еды — шиш с маком, а посуды грязной отчего-то не меряно, все поверхности заняты. Пока возилась, наступила на деревяшку с приделанными колесиками, ругнулась грубо, швырнула о стенку, колесики отпали. Как всегда из ниоткуда, будто призраки, появились сыновья. Собрали колесики, и только из коридора один раз коротко кто-то всхлипнул, а Галина Степановна досадовала, что снова так долго обед выходит, и странно, что не пришел еще, хотя пора бы... и хотя хорошо, что нету до сих пор — успеет стол накрыть. На скатерти жирное пятно в этот раз уже не отстиралось и серело на самом видном месте. Пришлось заставить чем-то. Из-за заминки во времени делать было нечего, и появилась возможность контролировать мясо в жарочном шкафу, периодически орошая его подливкой с маринадом. В этом-то и заключался, оказывается, секрет мяса, понятый Галиной Степановной только сейчас, на тридцать втором году жизни. Отрезая мальчикам по кусочку, аж диву давалась — нож входил в мясо, словно в масло.

Ребята поели, а Колобка все не было.

Уже вечерело, и мясо давно остыло, хотя оставалось все таким же мягким. «Чернослива бы к нему...» — размышляла Галина Степановна, рассеянно глядя в окно.

Рассвело. Мальчики заснули в уличной одежде, не расстилая постелей. Всю ночь в коридоре и на кухне горел свет. Мясо и утром было таким же мягким.

Галина Степановна подумала, что чернослив можно было бы смело заменить изюмом или урюком, *да хоть брусничным вареньем* — уже иным голосом, с надрывом вспыхнуло в ней и тут же все померкло под протяжным *Господи-и-и-и-и ушел-то!.. ушел...*

В полночь, когда пошли уже вторые сутки сидения рядом с мясом у окна, к ней подошли сыновья и молча обняли — один спереди, другой со спины и прижались щеками, к спине и к груди, слушая, как она тяжело дышит, как обиженно бьется ее сердце, какой надрывный вопль сидит там внутри — и были счастливы, аж вздыхали, что она все-таки тут, с ними, и будет еще долго, никуда не деваясь.



В Киеве Колобок нашел себе неожиданное применение — он начал делать бомбы и гранаты. Знания, полученные обрывками то тут то там, сложились вдруг в безупречную схему, включилась инженерная смекалка, подкатило радостным огненным шаром залихватское мальчишеское вдохновение, и полученный на выходе продукт оказался крайне успешным — отличался сравнительной безопасностью при транспортировке, легко запускался и мог быть использован даже самыми начинающими подрывниками. Разместился Колобок в дачной красной Боярке, Киевском юго-западном пригороде, в условиях, ни в какое сравнение не идущих с шикарными, пахнущими щами апартаментами Галины Степановны. Но воздух тут был иной, ельно-сосновый, свободный, лесной воздух.

Полюбил вставать рано утром и ходить в лес, там на какой-то полянке разуваться и бродить по некошеной влажной траве с колокольчиками, в «одних портках», как сам пояснял это состояние, заламывая руки, задирая голову, и то ли молясь, то ли цитируя смешанные мысли великих. Красные товарищи уважали его. Вечерами, засев над картами и схемами, перепоясанные патронташами, попивая кипяток с редкими чайниками, слушали о философии Маркса, Камю, Шопенгауэра и Бэкона — если взять вырванную из контекста мысль, то окрас ей можно придать любой — на фоне высшей гармонии, где происходит сам синтез используемых в миру понятий, политические убеждения не могут вступить в силу.

*«Человек чувствует себя одиноким, когда окружен трусами»,* — любил говорить Колобок, и это с одобрением слушали другие.

Однажды поздно ночью его разбудили хриплые крики, ругань и топот. Группа крайне возбужденных товарищей притащила на грязных шинелях совсем молоденьких комсомольцев — парня и девушку. У девушки была разбита голова, у юноши на левой ноге сквозь разорванную штанину в двух местах страшно белели алебастровые кости, а ведь такая темень стояла, что кровь казалась почти черной и эта белизна выглядела потому особо жуткой. Говорили, что это атаман Зеленый устроил резню, и уложил десятка два детей почти, что они могли поделаться...

— А чем лично я могу им помочь? — спросил Колобок, ежась, переступая с ноги на ногу.

Его каморка, устроенная в бывшей аптекарской подсобке, наполнилась больничной суетой, позвякиванием инструментов, старые

половицы дрожали под топотом сапог. Какие-то люди с волевыми лицами распахивали дверцы аптекарских шкафчиков и, недоверчиво оглядев их содержимое, с досадой отворачивались, напряженно ища взглядом что-то еще.

— Здесь попрошу аккуратнее, тут реактивы и детонаторы, — говорил Колобок, когда кто-то останавливался над его столом и уже тянул руку к раскиданным в беспорядке жестянкам и флаконам.

Девушка на полу начала хрипеть и дрожать крупной дрожью, выгибаясь всем телом. Суета завертелась по второму кругу — снова захлопали дверцы пустых шкафчиков, снова кто-то занес руку над колбами и жестянками. В дверном проеме стояла и курила папиросу коренастая женщина в кожаном пиджаке и в красной косынке. Она с ненавистью смотрела куда-то в даль, и когда мимо нее, на улицу, выбежал молодой человек, несильно задев, процедила сквозь зубы:

— Раньше бегать надо было...

Колобок хотел сказать ей, чтобы не курила в помещении, но запнулся, споткнувшись о твердый, злой взгляд, в котором не было ничего женского, да, пожалуй, и человеческого тоже. Она курила, по-солдатски, закусив самокрутку, выдувая дым из уголка криво сложенного бесцветного рта, а руки лежали на винтовке со штыком — ржавчина на нем вполне могла бы быть и засохшей кровью. Пепел осыпался частично на пол и частично на одежду.

— Мда, уж... — сказал Колобок, рассеянно оборачиваясь на суеящихся на полу людей. Девушка с разбитой головой перестала метаться, застыла, словно в умиротворении, словно политая густым компотом, а не кровью — кончик незамазанного подбородка, в девичьем абрикосовом пуху и с родинкой, казалось, налился сонным отдохнувшим румянцем. Парень с торчащими костями стонал, будто как не от боли, а в бреду — стоны казались неопределенными, какими-то недоумевающим вопрошительными, без злобы и агонии.

— Десять бомб, — сказала неожиданно женщина в дверях.

— Простите, что?

Она обернулась на вопрос Колобка, глядя неожиданно уставшим взглядом, лишенным всякого человеческого интереса:

— Десять бомб надо, сейчас. И гранаты. Много гранат.

— Это не быстро.

Она вышла на середину комнаты, обвела взглядом лежащих на полу и их товарищей, сокрушенно разводящих руками, прислонила

к изголовью неприбранной Колобковой постели винтовку, и села, вынимая стальной портсигар. Колобок снова хотел сказать, чтобы не курила, и снова споткнулся о взгляд.

— Я подожду...

Лечь на кровать она не решилась все-таки — задремала, тяжело опершись на стоящий рядом столик.

Ее звали товарищ Мария Волкова.

Парня и девушку похоронили на следующий день в лесу прямо за домом. Мария Волкова стояла над неглубокой могилой и с ненавистью смотрела перед собой, пожевывая потухшую папиросу. Приходили какие-то серьезные молодые люди, о чем-то переговаривались в сениях. На рассвете третьего дня, в сопровождении тощих белобрых мальчишек в кепках она ушла, утачив восемь тяжелых Колобковых бомб. Один из мальчишек, не рассчитав свои силы, чуть не уронил бумажный сверток, Волкова цыкнула на него, мальчишка густо покраснел, а Колобок вздохнул, проводив их недоверчивым сочувствующим взглядом.

Глубокой ночью, часа в три, а то и в четыре, в сениях послышалась какая-то возня, грохот. Вымазанный кровью и сажей незнакомый мужчина обнимал Волкову, которая словно пьяная, висела на нем, странно запрокинув голову в съехавшей на бок алой косынке. В этом сероватом предрассветном полумраке, в этой раздраженной суеде в узком пространстве с падающими тазами и транспарантами, Колобок вдруг впервые заметил деталь, ранее почему-то не открывавшуюся ему, — грудь у товарища Волковой, обтянутая грязным хлопком рубашки с одной оторванной пуговицей, с выбившейся серебряной цепочкой, была совсем немаленькой, и это казалось удивительным, так как Волкова, несмотря на женское имя, еще ни разу не становилась в мысленный ряд с остальным женским населением Земли (будь они хоть комсомолками, хоть элегантно стареющими бабушками с замурованными в стены брильянтами) автоматически вызывая тем самым определенную манеру поведения, тембр голоса и тому подобное. «Наверное, я был несправедливо груб с ней», — подумал Колобок, помогая раненому мужчине уложить Волкову на кровать, вспоминая теперь, уже с совсем иным оттенком глядя на ее безучастное молодое красивое лицо, как сидела она тут, всю ночь, со своей винтовкой.

Рана была неглубокой — просто стесался кусок кожи в опасном месте над виском, повис вместе с волосами, досталось и уху. Но опасности для жизни, по скудным Колобковым медицинским познаниям, не было. Мужчина сказал, что место это теперь небезопасное, синезупанники сильны и обозлены как никогда, готовится наступление на Киев, нужно уходить к своим, в тыл, где положение бедственное, но ожидается большое подкрепление. Как рассвело, Волкову положили на подводу рядом с химическими колбами, жестяными банками и прочим оборудованием и засыпали сеном.

Ехали весь день на юг и на восток, пока не увидели Днепр, поделенный курчавыми зигзагами островов, уходящий широким изгибом с песчаными кручами в широкий синеватый горизонт, как море. Спустя две недели именно тут случилась Трипольская трагедия, окрасившая речную воду у берегов в красный цвет. А обелиск со звездой в венце стоит там на горе и ныне, и мало кто знает, что связан он с событиями не Великой Отечественной, а 1919 года, когда в мае атаман Зеленый, подкравшись ночью и застав врасплох, отправил на тот свет несколько сот молодых ребят, из последних сил державших оборону.

Волкова сутки не могла ничего видеть и страшно кричала, «*как женщина, а не как солдат*», думал Колобок. Они поселились в большом двухэтажном еврейском доме, на хуторе, опустевшем после погрома. Так как для Колобковой работы нужна были тишина и покой, а Волкову девать было некуда, (хотя, прозрев, цепляясь за стены, она уже рвалась в бой) — ее оставили жить в том же доме, пообещав потом взять в отряд к киевским комсомольцам, готовившимся выступить в поход на Обухов и Триполье, освобождать от банды атамана Зеленого.

Звали ее на самом деле Мириам Вольфзон.

Двумя годами ранее черносотенцы, под предводительством местного беглого каторжанина, маньяка и людоеда, устроили чудовищную резню, без всякой политической подоплеки, из одной животной корысти и жажды легкой наживы, грабеж и убийства среди бела дня, назвав это борьбой с сионским злом. Отец Мириам был уважаемым человеком. Думали, что до их семьи дело не дойдет, но к ним-то и наведались в первую очередь. 20-летняя Мириам оказала вдруг нешуточное сопротивление, сходу завалив двух здоровенных мужи-

ков — одного проткнула вилами, второму попала в голову горячим поленом из печи (на правой руке по самый локоть тянулся бело-розовый шрам от ожога). Не ожидая таких стремительных потерь, неприятель замешкал и отступил, а Мириам выпрыгнула в окно, и, вскочив на пасшуюся тут же на всходах пшеницы бандитскую лошадь, умчалась во весь опор в соседнее село. За ее выдачу потом предлагали большое вознаграждение, ведь убила она, как оказалось, «важняка». За него потом долго мстили, и от некогда большой семьи Мириам осталось лишь пару человек. Саму ее быстро приняли красные и посоветовали взять новое имя. Волкова как нельзя пло ей — словно прислушивающаяся постоянно, всегда стоящая немного осторонь, не улыбочивая, с желто-карими холодными глазами, которые, казалось, не смотрят, а оценивают, она действительно напоминала волчицу.

Дни вынужденного безделья прошли в вялых ссорах с Колобком.

Он считал ее дикаркой и невеждой, хотя и *небезынтересной*. Ей он казался опасным в своем двуличии, непонятым со своими философскими размышлениями, но занимал странно большое место в вечерних раздумьях.

Теплой майской ночью на хутор напали. Видать, кто-то донес, или просто решили нагрязнать с предупредительным визитом, рассчитывая на авось. Колобок растерялся, Волкова, наоборот, будто обрадовалась — пока стреляли с улицы, не спеша завязала косынку, скинула кожаную куртку и, схватив винтовку, сумку с патронами и гранатами, выскользнула в окно. Прошла по широкому карнизу на втором этаже до угла дома, опершись плечом о водосточную трубу, стала стрелять. Колобок высунулся в окно, вытягивая из кобуры уже привычный браунинг, и увидел как из еловой рощицы, сбоку от дороги ведущей к хутору, показался мужик в полосатых штанах, с наганом (Колобку этот наган показался огромным), уверенно целящийся в угол дома, где, повернутая к нему спиной, стояла, отстреливаясь, Волкова. Колобок пальнул пару раз, мужик упал, Волкова обернулась на выстрел, и, задержавшись взглядом на Колобковых расширенных от только что пережитого зрачках, странно неловко спрыгнула наземь.

Тут на конях подоспела подмога — услышали выстрелы, сразу все поняли. Привезли пулемет, атаку отбили.

Стало их всего на хуторе человек 20. И 6 дней они держали оборону. Стены дома от пуль сделались губчатыми, как трухлявые грибы, на дороге и во дворе лежали распластанные, покрытые пылью тела.

Как это бывает иногда в конце мая — пришел вдруг неожиданный хмельной медовый зной. Казалось, ночное тепло давали буйно растущая трава, бузина и калина, выстреливавшие свои пронзительно зеленые гибкие побеги чуть ли не на полтора метра за несколько дней. Все вокруг росло, разбухало, зеленилось, наливалось соками и цвело. Однажды, когда закончился очередной обстрел, Волкова подошла к Колобку на балкончик с разрушенными перилами, где стоял пулемет, и обняла его сзади, мягко и уверенно положив руки на грудь, прижавшись щекой к широкой, чуть мягкой спине. Это было неожиданно, но Колобок ответил единственно возможным, хотя и чересчур стремительным образом, — с Волковой и нельзя, наверное, было иначе. Чуть выше ягодницы и на боку у нее долго еще не сходили отпечатанные пунцовой лестничкой следы от зубчатого вала на пулемете, а на Колобковых лопатках остались по три царапины, которые потом гноились и не заживали около месяца, вызывая тупую тягучую боль, отстреливающую в шею и ухо.

— Я тебя съем, съем, rrrrrrrry! Съем! — любила она продышать ему на ухо, больно куснув, в жаркие минуты обстрелов, когда лежали они на полу, возбужденные страхом и близостью друг друга.

— Во девка, два года как к ней кто только клинья не подбивал — всех отшивала, а тут пропала совсем... — говорил командир с завистью.

— Не ешь меня, Волкова, — одним обманчиво тихим вечером сказал Колобок, обнимая ее за плечи. — Не твоя я добыча, мой путь — дорога одиночества.

— Мой тоже — дорога одиночества.

— Значит, только тут и сейчас наш перекресток. Давай расскажу тебе свою историю, хочешь знать, что я за человек? Может, и не станешь тут сидеть со мной рядом...

— Мне неинтересно... — горячо продышала Волкова, переворачиваясь через его руку на живот, почти лежа на нем сверху. — Дай винтовку.

Колобок все равно рассказал ей, неожиданно для самого себя, смакуя детали. «Странно, не было во мне никогда склонности к такому бабскому...» — думалось ему.

— Тебе было их всех просто жаль, превозмогая себя, ты боролся со своей жалостью, бесполезнейшим из чувств, — спокойно сказала Волкова. — А я лучше сдохну, чем позволю кому-то себя жалеть.

Поздно ночью на хутор опять напали. Ароматным тонким шелком стелилась по полу сквозь выбитые окна майская жаркая ночь. Нежно пах жасмин, и толстые неповоротливые хрущи стучались в окна и стены. Волкова стонала, кусая до крови свое вымазанное пулеметным мазутом запястье, а Колобок чувствовал себя впервые по-настоящему сильным, мужественным; упругая сталь винтовки, нагретая его рукой, напоминала сталь и упругость его естества, обезображенные трупы под окнами с лужами темной застывшей крови составляли ключевой элемент этого нового, свободного от стабильности и определенности пейзажа его жизни. *O, inferno!* — думалось ему, когда блаженство золотой кляксой уже застилало глаза. Палец на гашетке дрогнул, вжата в стену, обвившая его ногами Волкова горячо ахнула, где-то вдали, заглушенный шумом крови в ушах, грохнул выстрел, пахнуло порохом, и отдача от винтовки с тупой сладкой болью ударила в предплечье.

— Сожру... сожру, — стонала и хохотала Волкова.

— Заячковская не сожрала, Галина Степановна не сожрала, и ты не сожрешь, — улыбался Колобок.

На заре седьмого дня прибыло подкрепление из Киева — четыре сотни молодых комсомольцев, мальчишек и девчонок. Разве могли они посостязаться в силе и опыте с матерыми головорезами Зеленого? Погрузив на подводу ружья и пулемет, поехали биться за село Триполье. В жаркой жуткой сутолоке первого боя Волкова не заметила, что Колобка нет. Рядом были другие товарищи, державшие оборону хутора. Когда с пологих холмов, окружающих село, стали стекаться новые отряды неприятеля, было принято решение отступить. Отступить было некуда, и ребята прыгали в воду, по ним палили так, что вода кипела, в кровавой пене, прибитые к берегу, дрожали на мелких волнах их белые тонкие тела.

— Где Колобок? Где он? Почему не вижу? — волновалась Волкова.

— Как, ты не знаешь? Он с Орловым на лодке на Канев уехал, ночью еще.

Волкова почувствовала, как немеет лицо, становится трудно дышать.

— Как уехал?

— А зачем ему тут? Он важная птица, на особом счету, кто еще будет бомбы нам делать, вот они с Орловым и ушли туда от греха подальше.

— Как, совсем?

— Волкова, — командир батальона сплюнул, обнимая ее за плечи, — не бери дурного в голову, никакой любви не бывает, ты что, не знала?

Она безумно улыбнулась, облизывая пересохшие губы, локтем отпихнула его, вскидывая винтовку и целясь в прущих на них плечистых мужиков с ружьями.

Вскоре остатки комсомольского отряда были окончательно окружены и прижаты к берегу, из сорока человек их осталось пятеро. Когда неприятель стал отрезать путь к воде, командир потянул Волкову за ремень, куда-то в камыши, орал ей на ухо, отбирал отстрелявшую винтовку, но она не слышала. С другого конца села избитой колонной вели на страшную мученическую смерть взятых в плен.

— Уйди! — безумно завопила Волкова, толкнув командира в грудь, встала во весь рост, пошла прямо на противника. Стрелять прекратили, ухмыляясь, выглядывали из-за кочек, думали, что она сдастся. Поскальзываясь на песке у берега, хватаясь за сухую траву, она вылезла на луг, обсаженный ивами, с покосившимся плетнем с одной стороны и неглубокой канавой с ручьем с другой. За спинами у Зеленых круто ввысь, заслоняя небо, уходила Дивич-гора, лысая, как оборванная папаха, из-за которой рыжим заревом светило вечернее солнце. В руке у Волковой, спрятанная за спиной, была граната, Колобкова граната. Сорвав чеку, стиснув зубы, она прокричала страшное «нннннны!» и неожиданным выпадом бросилась в самую гущу врага.

По мере того, как война приближалась к концу, селения и станицы захватывались и упорядочивались красными, Колобок двигался на юг. На смену песчаным кручам, поросшим осинами, дубами и березками, приходили пряно пахнущие степи, раскинувшиеся на пологих холмах с ковылем и цикорием. Днепр становился шире, разливицей, кое-где из воды торчали серые граниты, и все будто стремилось, съезжая по округлости горизонта туда, вниз, на юг и к морю.

Море пленило Колобка и дало ему то искомое душевное успокоение, никогда ранее не испытанное, одновременно отрезав своей



гладью путь к дальнейшим странствиям. «Все мы родом из воды», — думал он, гуляя против ветра, улыбаясь ему, вбирая его в себя глубокими вдохами, порами на коже, пропуская под плащ и за шиворот. Морской колючий ветер был хорош.

*«Ветер от моря хорош тем, что когда стоишь на месте и глядишь на несущиеся на тебя волны, создается иллюзия движения вперед, при фактическом стоянии на месте»,* — думалось ему.

Любил выбираться на кривой, в лобастых валунах обрыв, обгаженный птицами, цепляясь за ключья сухой травы, садиться там и смотреть, ощущая движение земли, более того, всего, всего космоса.

Сразу после войны и революции Одесса из шикарного, кишашего иностранцами и миллионерами города превратилась в тихое захолустье. Как известно, места делают люди, а все общество удрало кто куда смог, остальных сослали или того хуже... уцелевшие тетушки, выпускницы института благородных девиц, приняли в свои многокомнатные квартиры на Дерибасовской, малой Арнаутской и прочих центральных улицах по 40 человек новых соседей. Большие комнаты делили деревянными перегородками, через которые слышен был любой шорох, чадили примусами, кашляли, маясь бессонницей, стеснялись говорить о себе с соседями, но выкладывали все гостям из других таких квартир, и через две стенки в каждый конец комнаты обо всем все слышно было, и потом на кухне обсуждалось. В двадцатиметровых ваннах устраивали кладовые, и на досках там спали чьи-то бабушки, а каким-то чудом не девшиеся никуда потомки блиставших брильянтами, чирикавших по-французски и обмахивавшихся страусовыми веерами — околачивались тут же, с распухшими от стирки красными руками, носили сбитые башмаки и жили, как повелевалось, вровень со всеми, забыв про свой французский и про перья с брильянтами. Рестораны, кондитерские и кафе в большинстве своем закрылись. Иностранцы исчезли, движение судов в порту сделалось минимальным.

После марта 1921 года, когда приняли «новую экономическую политику», ситуация где-то ухудшилась, сделавшись совсем катастрофической, но где-то, и большей частью именно в улыбчивой чуть хмельной приморской Одессе, стали появляться первые новые богачи — нэпманы, и постепенно, подстраиваясь под их вкусы, пооткрывались кабаре и ресторанчики разгуляевски-разбитного пошиба, без

всяких позолоченных канделябров, но с куплетистами, «муркой», портвейном и пьяными драками.

Благодаря партийным заслугам Колобок вел существование вполне безбедное. Полюбил покупать старинные измерительные приборы — в его просторную комнату, бывшую барскую столовую с балконными дверями во всю стену, в арке с витражным цветком и стеклами в квадратиках, потихоньку сносились астролябии, микроскопы и даже, в качестве исключения, два очень древних метронома. Вечерами ходил в кабаре «Павлин», открывшееся в подвале соседнего здания. Там знакомился с певичками и юными работницами швейной фабрики, приходившими через день, по очереди, в одном и том же платье. Колобок называл их Педредо, Энио и Дейно. Девуцы томно усмехались черно напوماженными губами, чуть прикусив, словно хотели сказать «ффф», блестя широкими желтыми зубами, и хлопали ресницами, поправляя завитые щипцами кудри полными короткими пальцами, где ногти были по-плебейски короче в длину, чем в ширину.

По пятницам был особенный день. В «Павлине» попытались сделать что-то вроде театра, называлось это — студия «Помпон». «Помпон в павлине» — манерно загоняя в нос «н», говорил Колобок, желая повеселить девиц. Номера были в основном теми же, что и всегда, публика та же, единственное разнообразие внесла некая Елизавета Лисовских, появившаяся как-то промозглым мартовским вечером и взявшая за правило посещать кабаре в «помпонные» дни. Она всегда садилась за один и тот же столик, брала какой-то яркий ликер и сидела, вполоборота в зал, вполоборота к сцене. Так как второе место возле нее всегда оставалось свободным, к ней регулярно, но безуспешно пытались подсесть различные господа, а так же присылались шоколад и напитки. В отличие от господ — к подобным дарам Лисовских обычно относилась с большей благосклонностью. Колобку стало интересно, кто она и чем занимается, но информаторы вокруг были какими-то бестолковыми, и, кроме имени и догадок о ее причастности то ли к новой политической среде, то ли к старой божемной, никто ничего сказать не мог.

Однажды Колобок отправился в Аркадию гулять к морю, дорога вдоль которого была пуста и грустна даже в погожие дни. Впереди танцующей походкой шла женщина в черном пальто, из-под черной шляпки выбивались рыжие локоны, подрагивая на ветру. Глядя на

ее спину, Колобок ощутил вдруг неожиданное, несвойственное для себя ликование. Ускорив шаг, поравнялся, обогнал, обернулся и остановился, разводя руками и улыбаясь. Она, не замедляя движения, кивнула ему, улыбнулась и отвела взгляд.

— Елизавета, простите, не знаю, как вас по-отчеству, я искренне рад встрече.

Она еще раз улыбнулась и — господи, неужели она стесняется?! — ускорила шаг.

Дорога скоро кончилась, начался парк. Она поднялась по ступенькам так быстро, что Колобок едва успел за ней.

Через два дня наступила пятница и, отказываясь признаваться себе в этом, Колобок нервничал. Был ли это поглощающий азарт охотника, не совсем уверенного в своих силах, или нечто большее — во всяком случае, Колобок отметил в себе некую новизну ощущений. «Интересно, сколько ей лет?» — думал он в прокуренном полумраке жадно, не стесняясь, что может сделаться объектом чужих шуток, неотрывно глядя на ее профиль с нежной девичьей линией шеи и скул, раскосым глазом с расширенным зрачком, тонкой раковинкой ноздри, алебастровой мочкой уха, в которой синим сполохом поблескивал бриллиант. Что-то неуловимое в линии рта не давало отвести взгляд. «Не девчонка отнюдь. Наверное, кокаинчиком балуется...»

За весь вечер Лисовских один раз обернулась на Колобка, пригласившего её шампанского, шоколадку и розу, и, неожиданно широко улыбнувшись, медленно кивнула, возмещая этой медлительностью то время, что было бы потрачено на глубокий поклон, выполнить который здесь не представлялось возможным. Просить разрешения сесть за ее столик Колобок не стал, и ушел раньше обычного, не один, и в состоянии крайне приятного расположения духа. Уже на ступеньках, в прохладном сумраке накидывая пальто, обернулся мельком, и показалось, что она таки смотрит ему вслед.

Через несколько дней Елизавета Лисовских снова гуляла в пустынном парке у моря. И завидев его, улыбнулась, как ему показалось, смущенно, опустила подбородок в серебристый мех горжетки, развернулась лицом к морю, и глубоко вдохнула влажный воздух.

— Надо же, — чуть запыхавшись, сказал Колобок, — вы тоже любите гулять тут?

— И помпон в павлине по пятницам, — неожиданно низким глуховатым голосом ответила она, не поднимая взгляда.

— И помпон в павлине, — улыбнулся Колобок. Он знал, что сегодня как никогда презентабелен — за зиму немного похудел и в модном сером тренчкоте по колено выглядел как завсегдатай Торгсина. Снятая приветственно касторовая шляпа так и осталась в руке — да и кстати: рыжеватые волосы в серизне и слякоти еще не проснувшейся природы выглядели особенно ярко, как солнечная клякса, оттеняя девически-свежий цвет его лица — даже Грайи деловито интересовались, как так удается.

С моря подул сильный ветер с капельками влаги, Елизавета подняла навстречу ему голову, улыбаясь, чуть прикрыв глаза, вздохнула, а Колобок, думая над нежностью и белизной ее шеи, спросил:

— Не боитесь простудиться? Испанки не боитесь?

— Ах, этот ветер... — ответила Лисовских, — этот ветер... почему я так люблю этот ветер?

— Вы любите этот ветер? Изумительно! Какое чудо, право же, а знаете, почему я люблю ветер?

— Я видела вас, много раз. — Она резко обернулась, глядя ему прямо в глаза, придерживая рукой в серой замшевой перчатке рыжие (ярче, чем у него!) волнистые пряди. — Видела, как ходили вы туда, на камни, сидели там, стояли на ветру, я и в «Павлин» ходила, только чтобы вас увидеть...

Колобок потерял дар речи. Он остановился, пытаясь понять, не разыграл ли это, огляделся по сторонам, ожидая появления развеселой компании молодых людей в кепках и с шампанским. Но никого не было. Непокойное серое море стелилось под низким серым небом. Лисовских улыбалась, что-то неуловимое в линии ее рта манило все больше.

— Расскажите о себе! Очень прошу, расскажите мне все-все!

— Прямо вот и все? — смутился Колобок.

— Все-все-все!

Они прошли по Итальянскому бульвару, немного по Канатной, по малой Арнаутской добрались до Старобазарного сквера. Там Елизавета сильно замерзла, и попросила отвести ее домой — в отдельную квартиру на Спиридоновской улице. Глядя на бархатные портьеры, старомодный мебельный гарнитур, с гнутыми ножками Колобок, не любивший гнутые линии сецессии и еще в большей мере — прямизну новомодного конструктивизма, во второй раз за этот день онемел.

Да, он почувствовал себя дома, на Пушкинской в Киеве, и, заглянув через открытую дверь в соседнюю комнату, нисколько не удивился, обнаружив на стене двойника своей Римлянки с дарами девичества — на этот раз изрядно распущенной и принявшей облик вакханки.

— Вы неплохо живете, товарищ Елизавета.

— Ну, уж не товарищ и не Елизавета. Я — Лиза-Мария. Я себя так зову. Вам сделать кофе с капелькой рома?

Колобок улыбнулся и кивнул. Неожиданно раскрылась дверь в соседнюю комнату и к ним вышла девушка лет восемнадцати, с аристократично-бледным лицом и распущенными по плечам волосами соломенно-золотистого цвета, не похожая на прислугу, но с сербряным подносом в руках.

— Наденька, — сказала Лисовских, обнимая ее за плечи.

Девушка чуть заметно поклонилась.

— Я в глубоком потрясении от услышанного... путь одиночества, право, это так опасно, — проговорила Лисовских, разливая кофе по крошечным чашечкам из просвечивающего на свет фарфора.

— Изумительные чашечки, — отметил Колобок, подняв свою так, что можно было разглядеть на обороте букву А с короной над ней и римской цифрой 3 внизу.

— Да. Это бабушкины. И все-таки... все-таки я хочу услышать вашу историю еще раз. Наденька, солнце мое, подготовьте мне ванну...

— Услышать то, что я рассказывал только что?

Лисовских улыбнулась, медленно открыла лаковый портсигар, медленно вынула из него тонкую папироску, так же медленно вставила ее в длинный черный мундштук. Закуривать, однако, не стала.

— Именно, почему бы и нет. Просто в вас так много всего, что разглядеть с первого взгляда не представляется возможным.

— Ну что ж... — согревшись кофе с ромом, Колобок вздохнул, с краешка кресла съехал поглубже, наконец, устраиваясь удобнее, — вы хотите, наверное, чуть подробнее о детстве...

На рассказе о киевских зимних забавах, которые, Колобок, чуть привирая, живописал со всеми мельчайшими подробностями, Лисовских вдруг резко встала, и, перебив рецепт медовых пряников, которые пеклись на Рождество *гран ма*, направилась вон из комнаты, говоря на ходу:

— Я буду сейчас купаться, а вы рассказывайте, рассказывайте, — сказала она, жестом позвав за собою и на ходу пытаюсь расстегнуть пуговицы на платье сзади. — Ну, помогите же, что ли!

Колобок так же на ходу дрожащими руками пытался справиться с маленькими, густо посаженными перламутровыми кружочками и, оказавшись в просторной ванной, ошарашенно уставился на потолок, боясь бросить взгляд на запотевшие зеркала.

— Разрешите... — Мимо прошла Наденька с эмалированным белым кувшином с горячей водой.

— Сны... меня особенно интересуют сны, вы же видели сны о женщинах, — сказала Лисовских, уже раскинувшись в ванне.

Колобок, мокрый в своем костюме из шерстяной фланели, не решался даже распуścić запонку на воротничке сорочки. Не зная, куда себя девать, переведя глаза с потолка на полочку со всякими дамскими флакончиками, он вяло продолжил повествование, думая лишь о том, что же делать дальше. Бездействуя при такой открытой провокации, он ощущал себя полным идиотом.

— Ну же... пряники пекли... И как вас называли?.. Колобок? Колобок! Ну что ж ты, катись сюда ко мне! Скорее! — Она протянула руки, облепленные пушистыми хлопьями пены.

Он начал судорожно скидывать одежду, путаясь, а Лиза-Мария благосклонно улыбалась, склонив голову на бок.

От горячей воды и близости ее тела перехватило дух. Шумно хлопнуло на пол, Лисовских засмеялась, обвивая его под водой руками и ногами, закружилась голова.

— Ты только не влюбляйся в меня, Лизонька, я же Заячковскую беременную бросил, Галину Степановну беспомощную больную с мальчишками ее... Волкову даже, светлая ей память... — сказал Колобок уже в кровати, наматывая ее рыжую прядь себе на палец.

— Ой, влюблюсь, Колобок, я уже влюбилась... а ты покажешь мне, как бросать умеешь, а? — И перекатившись на живот, лежа на нем сверху, кусая за нос: — Ам!

Они увиделись спустя день, в «Павлине». Едва войдя, Колобок направился к столику Лисовских, но она неожиданно резко выставила перед собой руку с длинным мундштуком и отрицательно покачала головой. Колобок, с губами, онемевшими в улыбке, которую

он теперь не знал, куда девать, пожал плечами, выпил, не закусывая, водки с приятелями, и вскоре ушел. Но через какое-то время вернулся. Заглянул, не снимая тренкот и даже шляпу, выпил еще водки и стал ждать на улице, чтобы проверить с кем она выйдет. Она появилась в компании двух хихикающих артисток из кабаре — приехал автомобиль, кто сидел внутри, было неясно. Колобка, сделавшего вид, что рассматривает вывешенную у входа в «Павлин» карту вин, она словно не видела.

Колобок стал ежедневно ходить в парк, даже не убеждая себя, что делает это для моциона, а отчаянно надеясь на встречу. Потом пошел на крайнюю меру и у нужных людей стал осторожно наводить справки о ней. Ему тут же многозначительно порекомендовали забыть этот адрес, что еще более усилило романтический ореол таинственности.

А встретились они две недели спустя. Будто специально она ждала его прямо у его дома.

— Прогуляемся?

— Лиза, что же ты так... я даже скучал.

— Колобок... — засмеялась она, беря его за руку, — я тоже скучала. А ты не по мне скучал, Колобок, а по своему отражению в моих глазах. Но я хочу послушать. Еще. Все с самого начала.

— Как, опять? — а сам подумал: *«Почему мне так спокойно и радостно с ней, когда я говорю о себе? О детстве, гимназии, Мане, вечном пере — о такой ерунде!»*

Через две недели, лежа в той самой ванне, Колобок вдруг сказал:

— Лизавета, ты бы родила мне ребенка?

— Как Зойка?

— Нет, как ты... я хочу быть с тобой... я никуда не уйду, мой путь погас, мой путь кончается в тебе...

— Иииииии! — засмеялась Лисовских, запрокидывая голову. — Ты просто потрясающе сказал!

— Да, Лиза, в тебе кончается мой путь. И я хочу, чтобы мы были вместе.

— Как муж с женой?

— Почему как...

— Ну, тогда с этой минуты... я атеистка, и церковь нам ни к чему в этом вопросе... отныне мы муж и жена, иди сюда, я окроплю тебя этой святой водой, напитанной любовью.

- Так мне остаться сегодня?
- Конечно, остаться, дурашка!

Вечером пришли гости. Они приходили почти всегда, кроме пятниц. Колобок быстро понял, почему там, сверху, отказывались что-либо говорить о Лисовских. В этот первый для Колобка вечер в ее доме Лиза-Мария, обняв его за плечи, шурша вечерним платьем, вывела, подгалкивая, в центр гостиной, под тяжелые взгляды гостей — нескольких мужчин, среди которых выделялся, сияя лысиной, один, в полувоенном френче, блестящих сапогах, и, как равнодушно отметил Колобок, деревянной кобурой. Слова «Это мой муж» не произвели на них никакого впечатления.

Кроме белокурой Наденьки у мадам Лисовских бывало еще несколько молоденьких красоток. Иногда приглашали куплетистов из «Павлина», всегда много пили, и от этих бестолковых сивушных вечеров у Колобка во рту появлялся гадкий привкус графитного карандаша. Было весело и грубо: гости шумно и много ели, не заботясь о манерах, вставали из-за стола, чтобы пригласить даму на танец, еще не успев отрыгнуть, и отрыгивали, уже приподнимаясь навстречу ей, прикрыв рот тыльной стороной ладони, а дамы смеялись... Разговоры сводились к одному — как бы перебраться в ШТАБ в Харьков, а лучше в Москву, кому повезло в этом, кому нет. Фамилии и имена, впрочем, не назвались. Иногда пели — под настроение шли «Очи черные» и «Калитка», но охотнее всего — похабные куплеты про модистку. Да, его тонкая, аристократическая, с великолепными манерами Лиза-Мария была среди них и смеялась вместе с ними. Колобок спрашивал себя, отчего он здесь, почему не может уйти, тогда, как все его существо вопило: вон отсюда, хотя бы на вечер, на ночь, чтобы постоять у моря, в темноте, пропитанной соленой пряной влагой, наконец, подумать о своем... И знал наверняка, что, оставшись одна, она точно так же, взмахнув подолом платья, изогнувшись обнаженной спиной, глядя снизу вверх, взявшись за локоть в тренче, жеманно посмеиваясь, пойдет, как одна из этих ее девиц, в одну из одинаковых гостевых комнат, с широкой кроватью, с патефоном и с фикусом в кадке.

Когда веселье затихало, и все разбредались по комнатам, Елизавета бессильно опускалась в кресло и говорила: «Боже... суета... суета...



расскажи мне, друг мой, расскажи мне что-то хорошее, что-то о себе, о детстве, что я не знаю, или позабыла...»

Однажды ждали чьего-то приезда. Глядя на приготовления, Колобок ощущал муторную тревогу, словно колокол безысходности бил у него в груди, отсчитывая время до вечера.

— Почему бы не уйти, Лиза, мы могли бы жить в другом месте... в Киеве, в Ялте... а это все оставь, неужто оно так важно для тебя? Неужто ты не хочешь родить ребенка и забыть все это? Ведь годы берут свое, Лиза...

— Милый, бесконечно мой милый, — она обняла его за руку, чуть повиснув, положила подбородок на плечо, с шутливой гримаской капризного ребенка глядя в глаза, — ну конечно же, хочу! Конечно, хочу! Только сегодня, ах, так тебя прошу... сегодня не будь таким буккой, не расстраивай мою атмосферу...

Колобок притянул ее к себе, поцеловал в лоб, ощутил горячую волну, идущую от низа живота к пульсирующей жилке на виске, но Лизавета выскользнула, и, шурша платьем, поспешила на кухню, отдавать последние распоряжения.

Приехавший высокий чин был с первой минуты понятен в своей наглости. Уставший с дороги, он быстро охмелел и, откинувшись в кресле, задремал с отвалившейся вниз челюстью. В какой-то момент из квартиры ретировались, стараясь не шуметь, прочие гости. Долгожданная спокойная тишина майской ночи усыпила сидящего в кресле Колобка. Снилось детство, *гран ма* снова несла маленького Колобка, завернутого в согретое полотенце, в ванную, рядом, с приготовленной ночной рубашечкой, семенила фребеличка, которая вдруг сказала густым басом: «Пойдем, потрешь мне спинку...» Колобок открыл глаза. В двух шагах, спиной к нему и лицом к хозяйке дома стоял новый гость. Колобок видел глаза Лизы с расширенными зрачками, раковинки тонких ноздрей подрагивали, что-то неуловимое в линии ее рта ... Да нет, хищное в линии изогнутых губ стало очевидным.

— На! — раздеваясь на ходу, бросил гость сидящему на диване адъютанту свою портупею. — На! — Китель неожиданно полетел в Колобка.

Лиза-Мария обернулась на него, держа гостя под руку — изогнувшись, как он и представлял в своих страхах, с голой спиной в глу-

боком вырезе, с золотой цепочкой с длинной застежкой с тремя камушками на конце, нежно спускающейся между хрупкими острыми лопатками. Уже готовясь исчезнуть в дверном проеме, она, обернувшись, сокрушенно пожала плечами и поджала губы, дескать, очень жаль, но она бессильна.

Отбросив китель куда-то на ломберный столик, Колобок вскочил на ноги, но бежать за ними не стал. Из-за неплотно прикрытой двери доносился звонкий Лизин смех.

Залпом допив оставшуюся в графине водку, Колобок выбежал вон из квартиры, прогрохотал вниз по мраморным ступеням, выскочил на мостовую. Город спал. В прохладном синем небе ярко, нездоровым зеленоватым отливом светила полная луна. Колобок пошел как обычно к морю, с каждым шагом трезвея и ощущая бессмысленность движения. Каждый шаг не имел никакого смысла. *«Когда стоять на месте равно бегу...»* — подумалось ему.

Море не имело смысла, ветер не имел смысла, ночь не имела смысла. *«Я один не я уже...»* — крутилось в голове.

Вскоре он вернулся в квартиру. Было тихо. Пахло горчицей, специями, вином, в гостиной было пусто. Дверь в ванную была так же приоткрыта, образуя в полумраке золотистую щель, буквой «г» — как коса. Светящаяся теплым светом с ароматным паром, с ее смехом и нежным похлопыванем, с тошнотворным мужским бормотанием смертоносная коса. Жизнь не имела смысла.

Пройдя в кабинет с массивным столом, за которым Лисовских, наверное, ни разу не сидела, и с книгами, которых, наверное, ни разу не касалась, Колобок быстро вынул из брюк ремень, запрыгнув на стол, перекинул через чугунную отопительную трубу над окном и, просунув в петлю голову, затянул крепеж... Последнее, что он видел перед собой — знакомое с детства лицо юной римлянки, так и не донесшей дары девичества к священному источнику и так жестоко преобразившейся в вакханку...

Нашли его только утром. Выносили тихо, стараясь не придавать происшествию огласке, но город потом еще долго шептался: *«Сожрала рыжая Колобка... сожрала-таки...»*

